МАРК АЛДАНОВ

УБИЙСТВО УРИЦКОГО

Сократ. Или ничего не стоили, по-твоему, те божественные люди, которые пали под стенами Трои, и первый из них, бесстрашный сын Фетиды. Ему ведь сказала богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. А он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.

Платон.

«Не подлежит никакому сомнению, что всякое политическое убийство есть гнусное преступление».

Так писал недавно в передовой статье, по поводу гибели Воровского, один весьма влиятельный орган печати.

Выстрел Мориса Конради нельзя назвать иначе, как бессмысленным актом, он особенно бессмыслен потому, что Воровский был, насколько могу о нем судить, честный и убежденный человек, лично неповинный в преступлениях советской власти.

Так бывает часто. Так бывает даже всегда. Иоанн Грозный доживает до старости, а от рук убийц гибнет его малолетний сын. Николай I умирает в своей постели, а бомба разрывает на части Александра II. Пятнадцать Людовиков, в большинстве очень скверных, проводят безмятежный век на престоле, а шестнадцатый, самый добрый и лучший, всходит на эшафот. Немезида слепа, глуха и глупа.

И все-таки уж очень категорически выражается влиятельный орган печати. Неужели «не подлежит никакому сомнению»? И уж будто «всякое»? И так-таки «гнусное преступление»?

Платон, Шекспир, Вольтер, Мирабо, Шенье, Гюго, Пушкин, Герцен были совершенно не согласны с передовиком влиятельного органа печати.

Шекспир изобразил убийцу Цезаря несравненным образцом добродетели. Ни единого пятнышка не наложил он на облик Юния Брута. Дело не в том, верно ли это исторически. Дело даже не в том, сочувствовал ли великий драматург убийству римского диктатора. Важно, что он допускал возможность самых чистых и благородных побуждений у окровавленного политического террориста.

Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному расценивают поступок Шарлотты Кордэ. Но разногласия больше не касаются ее личности. Только еще несколько изуверов отрицают высокую красоту морального облика женщины, убившей Марата.

Вечная проблема остается вечной проблемой. Но людей в политике судят не только по делам, — их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел.

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погибшему пять лет тому назад. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история; а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого[1].

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов, самый грешный из всех городов мира...

[1] Это, впрочем, не так уж невыгодно для историка. Ему достанется по крайней мере полная свобода суждения и оценки, у меня полной свободы нет.

© «Im-Werden-Verlag» 2002
http://www.imwerden.de
info@imwerden.de

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных записках» и в «Русской мысли», шесть или семь отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время. Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться. Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевистская революция, — об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей[2], в котором компетентный человек, А, Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер...

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке; в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты — со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей. О подобных ему сказано у летописца: «никто же их бияше, сами ся мучаху».

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник, расстрелян и тот, кто уберег его в дни, последовавшие за убийством Урицкого[3]. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уж никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитывала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала; почему?

Pourquoi, pourquoi dans ton oeuvre celeste
Tant d'elements si peu d'accord![4]

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году — первая помечена 29 мая. Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну именно то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кофе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом, безусловно, будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил; «иду!» Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: «вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия». А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: «лучше пойду санитаром». Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие, по крайней мере, работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку, и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною: все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбрил вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила повязку.

---

[2] Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией, — другой причины не было.

[3] Большевистскому следствию этот дневник не дал бы, впрочем, ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе заговорщической деятельности Каннегисера.

[4] Почему же танцует тело, в котором части так мало гармонируют друг с другом!

Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: «Не могу этого видеть». Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: «Пожалуйста, осторожней». Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я б, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на «моей ноге»... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: «мне не грозит ничего», тогда я знаю: «я — подлец!»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: «О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..» Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная и именно болью страшно заразительной. — Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. «Попросите с верою и дастся вам...» Это вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: «С верою вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, значит, без веры или с малою), а только о царствии небесном». Но, во-первых, это не ясно, а такие неясности не могут быть случайными, т. е. опять демагогия. А, во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем, которое все создано так, что не может не желать жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царствию Небесному. Ларошфуко говорит: «La philosophie triomphe aisement des maux passes et des maux a venir, mais les maus present triomphent de la philosophie»[5]. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо la philosophie подставить la religion, но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга, — даже Толстой и Амиель не составили исключения. Со всеми наивностями стиля и мысли выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Было бы напрасно искать в них логики. Решение уйти на войну сменяется с решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронезе сменяется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов... И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно:

«Душа из тела рвется вон»...

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало.

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго играли с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгоды перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая преимущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетия. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принялся их

[5] Философия легко побеждает беды минувших дней, но и беды настоящего легко преодолеваются с ее помощью.

перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (непроверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывают, — быть может, неосновательно, — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть, — сказал он, бледнея, — чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем вдруг стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить к красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда, — или мне теперь так кажется?

— Заметьте, — сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии, — заметьте, здесь Пушкин сплоховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплоховал Пушкин, — повторил он, усмехнувшись. — Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен, — усмешка, разумеется, ставила в кавычки эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее[6].

Он помолчал, а затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала»,

О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас перед собой, вижу его в ту минуту. Он сидит в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось... Мне жутко вспоминать теперь эти строфы «Кинжала» — в чтении убийцы Урицкого... Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии?

Помню, я обратил внимание молодого человека на необыкновенное техническое совершенство этих изумительных строф, на рыдающий звук второго стиха («О Занд»),

[6] Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин, оказывается, однако, довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным: знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь же, в первой книге «Голоса минувшего» за 1923 год М. А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н. И. Тютчева, в этом тексте второй стих рифмуется не с третьим, а с четвертым (как и требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды.
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

состоящего из кратких односложных слов, на эффект, достигнутый гласным звуком а. Пушкин, не учившийся в цехе поэтов, знал ухом все фокусы современного стихосложения. Андрэ Шенье в оде, послужившей образцом «Кинжалу», но превзойденной им, использовал сходный драматический эффект: звук аг:

Le poignard, seul espoir de la terre,
Est ton arme sacree...[7]

Но молодой человек меня не слушал (хотя о поэзии мог говорить часами). Он принялся расспрашивать о Занде... Не хочу сказать, будто я стал в тот вечер что-то подозревать. Тогда, вероятно, еще ничего и не было задумано.

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила, — кого же она не захватила так недели две или три?

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь, — как это ни странно, — что он не увлекался и идеями революции октябрьской. Ленин произвел на него, 25 октября, потрясающее впечатление, — об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга сделала его террористом.

II

The last of all the Romans, fare well!..[8]
Шекспир

Петербург в ту пору кишел заговорщиками.

Заговоры, говорят, были всякие: монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего неизвестно. Но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики...

«Пушечное мясо» — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно попалось ему на язык, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный резервуар пушечного мяса представляет собой «цивилизованное человечество». Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше — глупости или героизма — мы видели в последнее десятилетие?

Пушечное мясо революций по моральному составу еще много выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеобщая обязательная воинская повинность, нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все a priori бело-билетчики. Революции обыкновенно творятся добровольцами.

Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно: так оно было (вопреки распространенной легенде) и в период войн Революции и Империи. Дюмурье ненавидел солдат-волонтеров; недоверчиво относился к ним и Бонапарт...

Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году подготовляли в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савинкова, вероятно, чувствовал бы себя среди них — ну, как фельдмаршал Гинденбург на

[7] Кулаки — последняя надежда Земли — являются твоим священным оружием.
[8] Прощайте, последние из римлян!...

смотру вооруженных палками, восторженно выстроившихся школьников (такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах).

Конспирация у них была детская — по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Каннегисер ходил, летом 1918 года, вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать; он имел при себе два револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь; на следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я, по Чехову, назвал молодого человека «Монтигомо, ястребиный коготь» — он немного обиделся.

Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт (это называется: excusez du peu![9]). Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Каннегисер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на «ускоренном курсе» артиллерийских училищ? Химическая война, созданная гением Нернста, Фишера и Габера, была, однако, в полном разгаре.

Я знал и Перельцвейга, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к тому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцвейга, близкого друга Леонида Каннегисера, по всей видимости, и была непосредственней причиной совершенного им террористического акта: она страшно его потрясла...

Все эти молодые люди стояли на одинаковой конспираторской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образовании кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого Охранного отделения была юная Чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь; вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женевские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам, они быстро научились своему ремеслу[10].

Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко:

Я не принимал никакого участия в их делах, я был довольно далек от них в политическом отношении; психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое — поэтому беспристрастное — свидетельское показание приобщаю к пыльным протоколам истории: более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса — мне никогда видеть не приходилось. По жертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народовольцами первых съездов или с молодежью, которая в первые — короткие — славные дни добровольческой армии шла под знамена Корнилова... Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть, главным образом, науськивал Брест-Литовск.

Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт — только и всего. При всей своей неопытности, они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти — попасть в лапы Чрезвычайной комиссии. Десятый же шанс заключался в том, чтобы вести — к новым Калущам — солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. «La mort, a mille aspects, le gibet en est un»[11], — говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в «Marion Delorme». У них, у этих заговорщиков, в сущности, не было другой перспективы, кроме палача.

---

[9] Слабая форма извинения (вроде, ну ладно уж, прости).

[10] Думаю, впрочем, что и теперь Чрезвычайная комиссия по технике стоит значительно ниже Департамента полиции.

[11] У смерти тысячи лиц, и дикий зверь — одно из них.

Все они палачу и достались.

Впрочем, не все... Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу — и теперь верой и правдой служит Советской власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание — так, к слову, на «угрызения совести» я нимало не рассчитываю.

III

Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса... Не производит впечатления серьезного человека.

Документы б. Московского Охранного отделения. Большевики, Москва, 1918, с. 238.

Человек, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне, был Урицкий.

В иллюстрированном приложении к «Петроградской правде» 31 августа 1919 года, в годовщину «предательского[12] убийства», помещена биография погибшего шефа Чрезвычайной комиссии. Вот что мы в ней читаем:

«Моисей Соломонович Урицкий родился 2-го января 1873 годе в уездном городе Черкассах, Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось три года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры — Б. С. Молодой М. С. до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда. Единственным отрадным явлением в эти годы являлась его близость к природе. В свободные минуты мальчик уходил на берег живописного Днепра. Здесь мы должны видеть первоисточник той мягкости и добродушия, которые отличают М. С. во всю его жизнь. Интересы сестры его были направлены в другую сторону. Она рано угадала блестящие способности своего младшего брата и страстно желала приобщить его к русской культуре. Ей это удается. В 13 лет М. С. против воли матери «набрасывается» на изучение русского языка, вкладывая в это весь свой юный пыл. Он блестяще выдерживает вступительный экзамен и несмотря на процентную норму поступает в Черкасскую прогимназия»...

Дальше в том же роде. Будущий русский министр внутренних и иностранных дел, начавший в 13 лет изучение русского языка, еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году, «даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнанья, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах... Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его».

Я не знаю, кто автор биографии Урицкого, появившейся в советском официозе; вероятно, рядовому публицисту она не могла быть поручена. Не скрываю, мне ее чтение доставило некоторое удовольствие: уж очень забавен поэтический колорит, наведенный большевистским фармацевтом на личность Урицкого. Что-то в трогательном очерке этом предполагалось, по-

[12] Глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Каннегисера достаточно очевидна. Констатирую, что самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее: оно в официальных актах убийство царей и сановников обыкновенно называло «злодейским», а не «предательским».

видимому, от Гоголя, что-то предполагалось и от Руссо. Хороша и «отрадна близость к природе» с «посещениями берега Днепра», в которых «мы должны видеть» — этакая чудесная сила днепровских берегов! — первоисточник мягкости и добродушия будущего шефа чрезвычайки. Хорош и героический характер всех поступков Урицкого. Великое будущее молодого М. С. было впервые угадано его сестрой (так же, как это случилось с Эрнестом Ренаном), и ей, на счастье родины, «удается приобщить его к русской культуре». Русскую азбуку он не просто изучал, а «набрасывается» на нее, «вкладывая в это весь свой юный пыл». В черкасскую прогимназию поступает тоже не просто, а «блестяще». Выходит из школы с «блестящими знаниями по русской и всемирной литературе». Партийной работой занимается не как тысячи других людей, а «отдается ей всецело». О русской революции до него доходит в Копенгагене «весточка». Полицейская работа его в Чрезвычайной комиссии есть «бурная, полная огня и силы деятельность». И вся личность поставщика петербургского эшафота настолько исполнена «своеобразной романтической мягкости и добродушия», что перед ней невольно снимают шляпу и враги, вроде как у Шекспира Антоний и Октавий-Август почтительно склоняются над мертвым телом Брута: ведь даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку «принудительным отъездом за границу», — чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем ЧК, не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи, — тоже «принудительно».

Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф, — общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести: Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях»[13]. Статья эта начинается словами: «Убит тов. Урицкий. Убийца, как и следовало ожидать, правый эс-эр, студент Каннегисер». Каннегисер никогда не был социалистом-революционером, и большевики прекрасно это знали[14]. Кончается же статья Зиновьева так: «На контрреволюционный террор против лиц, рабочая революция ответит террором пролетарских масс, направленным против всей буржуазии и ее прислужников»[15]. Гнусный лжец-погромщик выдал Урицкому аттестат кротости и Монтионовскую премию за добродетель: «Урицкий, — пишет Зиновьев, — был один из гуманнейших людей нашего времени. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человеком добрейшей души и кристальной чистоты».

Опять замечу: много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени, но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве «одним из гуманнейших людей нашего времени» или фон Валя «человеком добрейшей души и кристальной чистоты». Не помню также, чтобы работа Герасимова и Курлова именовалась «бурной, исполненной огня и силы деятельностью». Положительно, чувства приличия у официозов самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей — много меньше (...).

Урицкий был комический персонаж.

Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая, по-утиному переваливающаяся фигурка, на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то, аккуратный проборчик, огромное пенсне на огромном носу грибом. Он походил на комиссионера гостиницы, уже скопившего порядочные деньги и подумывающего о собственных номерах для приезжающих, или на содержателя ссудной кассы, который читает левую газету и держится передовых убеждений. Вид у него был чрезвычайно интеллигентный; сразу становилось совершенно ясно, что все вопросы, существующие, существовавшие и возможные в жизни, давно разрешены Урицким по самым передовым и

---

[13] Г. Зиновьев. Моисей Соломонович Урицкий. «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов». № 194 (337).

[14] См. официальное сообщение о расстреле Леонида Каннегисера: «От Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» («Северная коммуна», № 133). Статья Зиновьева. Напечатана в годовщину убийства.

[15] Как известно, после убийства Урицкого в Петроградской коммуне, находившейся в ведении Г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей.

интеллигентным брошюрам; вследствие этого и повисло раз и навсегда на его лице тупо-ироническое самодовольное выражение. В общем, вид у него был довольно противный, хотя и гораздо менее противный, чем, например, у Троцкого или у Зиновьева. В Троцком все отвратительно — от его острой улыбочки до приставных манжет, неизменно выскакивающих из рукавов в патетические моменты речи. Физиономию Зиновьева я затруднился бы даже описать в литературных выражениях[16]. Наружность Урицкого чрезмерного отвращения не вызывала.

Не вызывала особо сильных чувств и его личность. Коммунисты, как водится, изобразили его беззаветным рабом идеи, фанатиком большевистского Корана. Сомневаюсь, чтобы это было так. Фанатик — комиссионер по продаже леса![17] И лицом Урицкий нимало не был похож на фанатика... Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца.

Урицкий всю жизнь был меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Г. В. Плеханове, — кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями.

У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной[18]. В 1912 году он был, однако, избран в их Организационный комитет.

Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из очередных попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии не большевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.

Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет. Группу эту составляли два делегата — «Лапка» и «Петр». Действовали они по совершенно разным побуждениям.

Член Конференции «Лапка» принадлежал к большевистскому течению и, если не во всем тогда сходился с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию — и теперь благополучно издает, вместе с гг. Ефимовским и Филипповым, монархическую газетку. «Лапка» был Григорий Алексеевич Алексинский.

Член Конференции «Петр» имел несколько имен. Его иначе звали в партии «Александром» и «Кацапом». Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще имелась и другая кличка — «Сидор». Под этим псевдонимом его знало Охранное отделение. «Петр» был секретный агент Департамента полиции.

Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДРП. В ленинском Центральном Комитете его представлял «Портной» (член Государственной думы Малиновский). В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор, «Пелагея» (А. Романов), личный друг семьи Ленина. Московские организации

[16] Это совершенно объективная характеристика. Во внешности Каменева или Рязанова нет ничего отталкивающего — напротив.

[17] Замечу, что целый ряд большевистских «фанатиков» занимался до революции делами, фанатизма не требующими и не предполагающими: Калинин был служащим городского трамвая, Джугашвили (Сталин) — бухгалтером, Красин — директором завода, Свердлов — аптекарским учеником, Ганецкий — приказчиком и т. д.

[18] Это подтвердил в разговоре со мной и Р. А. Абрамович, И. Г. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека.

находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника (страдавшего, однако, запоем). «Правду» редактировал охранник «Москвич» (М. Черномазов). В Париже работал человек с нежными французскими именами: «Андре» и «Доде» (доктор Яков Житомирский) и т. д. Одним словом, дело было поставлено хорошо.

Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений (особенно столичных) были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стиль циркуляров Департамента полиции и донесений его агентов — неподражаем. Так, например, об одном из течений РСДРП Департамент неодобрительно замечает: «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умиленные слова: «обладает симпатичной внешностью». Нравился Департаменту полиции лицом и Ленин: он «наружностью производит впечатление приятное». Зато менее приятен характер большевистского папы: «Ленина словом не прошибешь», — мрачно говорится о нем в одном донесении... Очень неодобрительно отозвался Департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины: так например, в сообщении его начальнику московского Охранного отделения (24 июня 1909 года) говорится почти с возмущением о том, что «члены Большевистского Центра — Богданов, Марат и Никитич (Красин) перешли к критике Большевистского Центра, склонились к отзовизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против Большевистского Центра вообще и отдельных его членов в частности. Так, они открыли школу на острове Капри, у Горького». У начальника московского Охранного отделения была, однако, своя собственная информация — и он в ответном письме Департаменту полиции (от 7 июля 1909 года) мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. «Никакой агитации против Большевистского Центра указанные лица не ведут; школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами... У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным, а главным образом с «Виктором». Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к Большевистскому Центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзовизме и ультиматизме, а равно и похищении денег». Поистине, если судить по стилю писем, то пришлось бы сделать вывод, что и Департамент полиции, и московское Охранное отделение менее всего думали о грабеже казенного транспорта[19]. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри и действительно ли они повинны в отзовизме и ультиматизме.

Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующие о каком-то психологическом раздвоении, нимало не мешали Департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную (хотя и не совсем понятную) политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду, — о ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что, по вполне понятным причинам, Департамент полиции упорно стремился помешать объединению разных фракций Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, «чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно-настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и в особенности объединения большевиков с меньшевиками».

В полном согласии с руководящей идеей Департамента полиции, член Конференции Петр, он же секретный сотрудник московского Охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской Конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. «Петр» был избран председателем комиссии по проверке мандатов (здесь следовало бы

[19] Дело шло о тифлисском ограблении 1907 года. Это «мокрое» дело было организовано Сталиным (Джугашвили) — по всей вероятности по поручению или, по крайней мере, с ведома Ленина.

поставить в скобках слово «sic» с восклицательным знаком). У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке[20]. Но на правильность мандатов других участников Конференции, не являвшихся делегатами Охранного отделения, Петру удалось набросить легкую тень. После того как партийные мандаты были проверены агентом Департамента полиции, возник вопрос о наименовании Конференции. При содействии г. Алексинского «Петру» удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская Конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он — опять-таки при содействии «Лапки» — включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться, как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального Комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким (здесь опять следовало бы поместить слово «sic» с восклицательным знаком), Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты Петр и Лапка, грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюции. Настроение Конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их «политическими шарлатанами». Удар грома! Обиды, нанесенной Ленину, не стерпел нынешний редактор «Русской газеты»: Г. А. Алексинский с негодованием вскочил, подал заявление об уходе с Конференции и покинул зал заседания. За ним в полном восторге последовал агент Департамента полиции. Это произвело еще более потрясающее впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартова убедили заявить о том, что его слова были дурно поняты: он имел в виду не Ленина, а «беспартийные хулиганские банды». Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиры «Петру» и «Лапке». Г. Алексинский и после того не счел возможным вернуться на Конференцию. Сотрудник же Охранного отделения согласился сменить гнев на милость: ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено.

И действительно, в результате Конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного Организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуру своих людей. В Комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого «работники», — в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он 6ыл избран, как представитель «группы Троцкого». В эту группу входило во всей вселенной человек пять или шесть.

Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава Чрезвычайной комиссии.

Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той «весточки», о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию — и стал осматриваться, примкнув для начала к так называемой междурайонной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами. Летом 1917 года еще нельзя было сказать с уверенностью, ждет ли большевиков блестящее будущее. Но зато было совершенно очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов нет никакого будущего. Урицкий подумал — и, как Троцкий, стал большевиком. Много честолюбцев и проходимцев переметнулось тогда в коммунистический лагерь. Урицкий не был проходимцем. Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и с тупой самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему Охранным отделением, весьма близка к истине.

В дни октябрьского переворота Урицкий был членом Военно-Революционного комитета. Затем стал комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне

[20] Б. И. Николаевский, известный знаток истории РСДРП, показывал мне, однако, письмо Л. Мартова, писанное с Венской Конференции, — в письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личность «Петра».

нагло и вызывающе. Новое повышение в чине дало ему пост народного комиссара Северной коммуны — по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство Чрезвычайной комиссией; с ней и связана вся последующая деятельность Урицкого.

Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей — в ту пору — еще очень мало; каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе: Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду у всего мира (Комиссариат иностранных дел), — его военный гений еще не открылся: тогда военным гением был Крыленко; Дантонов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье-Тенвилей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы Чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии (партии, к которой он только что примкнул)...

Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савинкова и, вслед за гуманным автором, растроганно повторял: «Не убий...».

Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого: поздно примкнув к большевистскому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом Чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за инфернальностью Урицкий тешил себя и этим мотивом.

В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазняющее людей и покрупнее Урицкого, — как Фуше или П. Н. Дурново. Прибавка эпитета «революционный» усиливает во сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть «жандармом-опричником» — позорно; «расстраивать козни контрреволюционеров» — прекрасно. О, магическая власть слова! Жизнь Урицкого была сплошная проза. И вдруг все свалилось сразу: власть, — громадная настоящая власть над жизнью миллионов людей, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда, — ничем, кроме «революционной совести», — огромные безграничные средства[21], штаты явных и секретных сотрудников, весь аппарат государственного следствия... У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы серпом, дробить черепа молотом!..

Слабая голова Урицкого закружилась. Он напялил на свое кривое тело красный оперный плащ и носил его с неловкостью плохого актера, с восторгом мещанина-честолюбца, с подозрительностью наскоро оцененного неудачника. Как он вел себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии, достаточно известно[22]. Объезжая тюрьмы, он сам говорил прежним сановникам, что ставит себе образцом — Плеве. Те «добрые задатки», которые имелись в его характере, в ужасной обстановке Чрезвычайной комиссии исчезли очень быстро и безвозвратно. Этот человек, не злой по природе, скоро превратился в совершенного негодяя. Он хотел стать Плеве — революции, Иоанном Грозным — социализма, Торквемадой Коммунистического Манифеста. Первые ведра или бочки крови организованного террора были пролиты им... Инфернальность его росла с каждым днем. Он укреплял себя в работе вином. От человека, близко его знавшего, я слышал, что под конец жизни Урицкий стал почти алкоголиком.

Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что труды в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его расположению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы упорядочить

---

[21] Этих средств он не клал в карман. Думаю, что он был неподкупен. Слухи о его продажности ходили упорно, но об основаниях их мне ничего неизвестно.

[22] Сведения об этом можно найти и в только что вышедшей книге Л. С. Маргулиеса: «Годы интервенции». «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал Х, как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора» (т 2. с. 77). Таких рассказов — возможно, преувеличенных — ходило по Петербургу много.

террор, но встречал будто бы сопротивление в Совете Народных Комиссаров[23] и в разнузданной стихии «районов». В «районах» людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через «входящие» и «исходящие». Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об отставке. Ссылки на вину «разнузданной стихии» хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, «страдали», и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина[24]. «Упорядочить террор» чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер как раз за несколько дней до 9-го термидора собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший.

Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая вышла ему на долю, — несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз именно элементом смешного... Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином... Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент (а тем более в революционный Совет или в Учредительное собрание), — это Старовский дворец Потемкина. Разумеется, выбор царского правительства, назвавшего Петербург Петроградом, должен был в свое время остановиться именно на Таврическом дворце. (Не проявила лучшего вкуса и революция, обосновавшаяся в Смольном институте.)[25] История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер, — философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков (они все трое гораздо знатнее Потемкина, это показывает, что так называемая «порода» тут совершенно ни при чем). Урицкий, в качестве хозяина Таврического дворца, казался пародией... Более самодовольной пародии я что-то не запомню.

IV

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийцы Урицкого, мне не ясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком? Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора.

Сообщников у Каннегисера, по-видимому, не было. Большевистскому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты[26] офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

---

[23] Один из виднейших большевиков говорил Р. А. Абрамовичу: «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий». Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лег не подает Зиновьеву руки.

[24] «Золотое сердце» Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечней доброте Ленина я лет шесть тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми.

[25] Н. Н. Суханов в «Записках о революции» (т. V, с. 195-196) рассказывает о переезде Совета из Таврического дворца в Смольный институт, который не понравился автору «Записок»: «Правда, по соседству были чудесные памятники архитектуры, во главе с монастырем; я лично помню, как я ахнул и остановился, увидев его впервые...» Н. Н Суханов провел, кажется, большую часть жизни в Петербурге. Тем не менее Смольный монастырь он впервые увидел тогда, когда поблизости обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов. Если б некоторый интерес к художественной культуре страны считался обязательным условием для занятия устроением ее судеб, — то сколько бы у нас осталось политических деятелей?

[26] За «аресты»!..

По признанию следствия, нашедшему отражение в том же документе, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось»[27]. Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была, — и кивало, как водится, в сторону «империалистов Антанты»[28]. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд-Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкэнэна, монархомаха 16-го столетия. Что до Клемансо, то, хотя он и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, но организацией покушений на русских чекистов он, конечно, не занимался и своим представителям этого не поручал.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация — ни та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручала ему убивать шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за погибшего друга (только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого). Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники, и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых, и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был», и жажда острых мучительных ощущений — он был рожден, чтоб стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страданья», — нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина, и, думается мне, ставил его себе примером, — пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их заговорщическом кружке, он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе, да и чувствовал бы он себя среди этих конспираторов приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще следующее:

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал — не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов.

Едва ли он имел основания обвинять себя в чем другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером, он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить тов. Урицкого, Чрезвычайной комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам т. Урицкий. Его неоднократно предупреждали, и определенно указывали на Каннегисера, но т. Урицкий слишком скептически

[27] И. Антипов. «Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычайной Комиссии!». «Петроградская правда».

[28] В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище.

относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «точно установить... не удалось». Притом какие же основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

И тем не менее, есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

— NN, знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?

— С кем?

— С Урицким[29].

Больше ничего. NN в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную комиссию! NN, как и я, пишущий эти строки, узнал об убийстве Урицкого вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как и я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера...

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно... Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому не известному петербуржцу едва ли можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной комиссии. Во всяком случае, надо было себя назвать. Или Каннегисер прикрылся вымышленным именем? Но почему же Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал народному комиссару будущий его убийца?

Не могу понять — и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения NN. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его стиль... Нет, стиль — неподходящее выражение. Но я чувствую, что независимо от возможного дела (что еще такое он мог придумать!) ему нужно было, ему психологически было необходимо это жуткое, страшное ощущение... Зачем Раскольников после убийства ходил слушать звонок в квартире Алены Ивановны? Зачем Шарлотта Кордэ до убийства долго разговаривала с Маратом?..

Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцвейга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 1918 года, в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг: Петербург — гиблое место... После потрясшей его казни товарищей он больше дома не ночевал. Тогда почти половина столицы старалась ночевать вне дома (аресты почему-то производились ночью). Родные Леонида Каннегисера ничего не подозревали и ни о чем его не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил.

Леонид Каннегисер

16 (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было в обычае. До того они читали одну из книг Шницлера, и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание

[29] NN не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцвейга и его товарищей или до нее.

«Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа...

Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой... Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.

Исчезал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, — он ни в чем не отказывал сыну.

По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом, отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.

Он простился с отцом (они более никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной коммуны.

Было двадцать минут одиннадцатого.

V[30]

Смерть не была приглашена...
Из старой легенды

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда приезжал в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за народным комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда приезжает тов. Урицкий: риск такого расспроса, жажда острого ощущения — «заподозрят? арестуют? — спросить надо равнодушно, Боже упаси побледнеть», — были в его натуре, все равно как звонок по телефону к Урицкому.

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находится лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «Ваше высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно...

О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела, — еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монте-Кристо»? О том ли, что жизни осталось несколько минут, что он больше не

[30] Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами источника, который я не имею возможности назвать.

увидит этого солнца, этой площади, этого растреллиевского дворца?.. О том, не пора ли взвести на «fire» предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?.. — Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый...

Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. В двадцать минут прошла слишком короткая вечность. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший конец...

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове.

Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор уже был составлен.

«Смерть не была приглашена». Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман...

Шеф Чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине.

Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: смерть?

Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю, — если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в то мгновенье не было никого[31].

Убийца бросился к выходу...

Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как это будет. Это вышло не так... Это всегда выходит не так...

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, суматоха поднялась через минуту. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первым вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был любопытный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный — залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде без шапки с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами, — желая избежать пули в спину...

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

[31] Швейцар, должно быть, раскрывал перед «Его высокопревосходительством» дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в третьем этаже.

Огромная усадьба Английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него: ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро начал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице...[32]

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю, — я слышал разные версии. Он почти не защищался, во всяком случае, не стрелял. Спастись было, конечно, невозможно: у ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда, враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой — зачем он этого не сделал?..

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной комиссии.

VI

> Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрёма имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию...
>
> В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрёма, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных.
>
> Дело об убийстве короля Густава III

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу...

Бурная душа Иоанна Анкастрёма прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной смерти их ждет вечное блаженство, купленное тяжкою ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtswiese»[33], толпились десятки тысяч людей, смотревших на него, как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие без публики на дворе Шлиссельбургской крепости, были, по крайней мере, уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых, — что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

[32] Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ленотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшейся в несколько минут в усадьбе Английского клуба. Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста.

[33] «Вознесение Карла Занда» (нем.).

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий[34], отвратительный мальчишка-садист, в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участи Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него, хоть на миг, да иной...

ЯЗЫКИ НЕ ВРАЖДУЮТ...

Марк Александрович Ландау вошел в литературу под именем Алданова. Его жизненный и творческий путь необычен. Сын богатого промышленника с Украины, он получил блестящее образование: окончил физико-математический, а затем юридический факультет Киевского университета. Позже получил диплом Школы общественных наук в Париже. Серьезно занимался химией, опубликовал ряд серьезных научных трудов.

В 1919 году, спасаясь от красного террора, бежал во Францию. Жил в Париже (в 1922—1924 гг. в Берлине). После начала второй мировой войны перебрался со своими друзьями известными меценатами Цетлиными и бывшим российским премьером Керенским в США. В 1946 году вернулся во Францию, похоронен в Ницце.

Почти не проявив себя в России, Алданов, оказавшись на чужбине, очень быстро завоевал громкую славу писателя-романиста. Его дебютом за рубежом стала книга о В. И. Ленине, моментально разошедшаяся и переведенная тогда же на несколько языков. Исторические исследования Алданова, его очерки, заметки на злобу дня печатались в самых популярных изданиях — газете «Последние новости», журналах «Современные записки», «Числа», «Русские записки» и других.

Марк Александрович принялся за осуществление воистину грандиозного замысла — описание европейской истории, начиная с 1762 года (благоразумно опустив эпоху толстовского романа «Война и мир»).

Алданов издал шестнадцать крупных беллетристических произведений, большинство из которых — романы. Их тематическими центрами служат две революции — французская с последовавшими за ней наполеоновскими войнами и Октябрьская в России. Над обоими циклами Алданов работал параллельно. К первым относятся романы «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров».

Попытка исторического осмысления российского Октября, который автор полагает исторической катастрофой, была сделана в романах «Истоки» (1950) и «Самоубийство» (посмертная публикация в 1958 г.).

Заметим, что каждый из алдановских романов, составляющих серию, сам по себе вполне самостоятелен. Однако они между собой тонко связаны — от сложных историко-философских нитей до общих действующих лиц (или их предков и потомков). Легко заметить, что автора привлекают персонажи его книг не своей неповторимостью, а как раз обратным — взаимосвязью во времени, угадыванием родственных черт в различные исторические эпохи.

* * *

Критика (В. Вейдле, Г. Струве и др.) дружно отмечала, что, несмотря на громадный успех исторических романов М. А. Алданова (они переведены на двадцать пять языков), ему еще лучше удались его небеллетристические этюды об исторических деятелях и знаменитых современниках, вошедшие в его книги «Современники» (1928), «Портреты» (1931), «Земля и люди» (1932). В них он сделал попытку разобраться в тех мотивах, которые влекут

[34] Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина.

людей к подвигам и злодействам, в том противоречивом клубке страстей и чувств, которые в конечном итоге творят человеческие судьбы — как отдельные, так и целых народов.

Одним из первых очерков на эту тему стал предлагаемый читателю — «Убийство Урицкого». Он появился в 1923 году в журнале «Современные записки» (№ 16), а затем вошел в книгу «Современники».

Алданов пытается ответить на вопрос, который не удалось разрешить Петроградской ЧК во время процесса над убийцей ее главы Моисея Соломоновича Урицкого: что побудило стрелять в него Леонида Каннегисера, юношу, «исключительно одаренного от природы», «получившего от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер»? Что заставляет умного и вроде бы гуманного человека пойти на самое страшное злодеяние — на убийство? Даже если это убийство бескорыстное, из политических соображений или мести...

Конечно, при других действующих лицах все можно было бы свалить на этнические проблемы. Но здесь один еврей стрелял в другого.

Чтобы сколько-нибудь понять драматизм этой самой «этнической проблемы», нелишне будет вспомнить почти неизвестное у нас стихотворение такого подлинного интернационалиста, как И. А. Бунин, созданное в 1918 году и впервые напечатанное лишь после смерти автора его вдовой в 1960-м («Новый журнал». США, Нью-Йорк, № 62, с. 9):

Возьмёт Господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети ваши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. — Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

Замените некоторые географические названия, и стихотворение поразит вас воистину библейским пророчеством, вполне сбывшимся.

Год спустя после публикации «Убийства Урицкого» в тех же «Современных записках» (№ 21) появился документальный рассказ М. И. Цветаевой о поездке в деревню за продуктами с «реквизиционным отрядом» в 1918 году — «Вольный проезд». После очередного «трудового» дня в избу собираются рыцари реквизиций. Они «входили, выходили, пошучивали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние». И далее мы приводим сцену, где действующие лица: автор, теща красноармейца этого реквизиционного отряда, начальник отряда Левит, красноармеец Кузнецов. Речь зашла о христианской религии и вызвала возражение начальника:

«Левит: — Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.

Острый взгляд: — Вот именно.

Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок. — Выдерживаю паузу).

...Как же, — вместе в песок играли: Канегисер Леонид.

— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: — еврей.

Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: — Кого жиды убили?

Я: — Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: — Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: — Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно), — ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?

Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: — Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена РКП, товарища Каплана.

Я: — Под портретом Маркса.

Левит: — И тем не менее вы...

Я: — И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: — А это правильно товарищ говорит. Какая же свобода слова, если ты и пикнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит. — Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: — Какое такое оскорбление?

Левит. — Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?

Кузнецов: — Да вы, товарищ, потише, я сам член К-ческой партии, а что я жид сказал — у меня привычка такая!

Теща — Левиту: — Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь — «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, — и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

— Хрисс-та-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

— Так вы вот каких убеждений, мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! — Это и к вам, товарищ, относится! — Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

— И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет! Ишь — расходился! Вот только Кольки моего нет, а то показала бы вам, как на почтенную вдову змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, — такого срама...

Хозяйка: — Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: — И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша — были у нас хлеб да каша, а теперь за кашей за этой — прости Господи! — как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: — Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам, ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо».

Легко предположить, что Цветаева не только читала «Убийство Урицкого», но и творчески его переработала, ввела в свой рассказ.

Надо помнить, что ни Бунин, ни Цветаева — эти два классика русской литературы — никогда не были заподозрены в антисемитских настроениях.

И Бунин, и Цветаева выражали те настроения, которые были присущи интеллигентской среде. (Добавим к ним, разумеется, и Алданова.) Персонажи рассказа Цветаевой — теща, солдат Кузнецов — выражали настроение большей части русского народа. Как и демагогический щит Левита («советскую власть раскачивать?») — на протяжении семи десятков лет безотказно защищал (да и сейчас успешно защищает!) левитов всех национальностей от всякой попытки правдивого изображения истории. Этот же щит пытался закрыть от народного взора темные и кровавые дела Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Каменева, а позже Ежова, Ягоды, Берии и иже с ними.

Алданов все же ответил на вопрос, который сам себе поставил: что толкнуло Канегисера на убийство? Это «и горячая любовь к России... и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых...» (Вспомним аксиому, повторенную Цветаевой: «Евреи, как русские, разные бывают»).

* * *

Перестройка в нашем государстве миллионам советских людей на многое открыла глаза. Народ твердо усвоил, что говорить правду вовсе не означает «раскачивать советскую власть». Наоборот, только правда поможет очистить наш дом от завалов лжи, которые старательно на протяжении десятилетий возводили различные демагоги.

Как это ни прискорбно, но «славный боец» Моисей Урицкий далеко не был «светлым гением революции». Его руки тоже замараны кровью безвинных людей. И надо ли, продолжая не лучшие традиции давно минувших лет, сохранять названия сотен улиц, площадей, заводов и фабрик, даже спортивных клубов (!), носящих вовсе не ангельское имя М. С. Урицкого?

Завалы надо расчищать...

Валентин ЛАВРОВ